



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### Вот он, я

Вот он, я — дрожащим на воде отражением. Миллион соломенных волос теснится на голове. Лоб — низкий и гладкий. Сотня молочно-белых зубов сверкает во рту. Кривая улыбка.

«Когда ты наконец повзрослеешь, Рафаэль?» — спрашивает Мать.

«Когда ты наконец умрешь, Рафинька?» — любопытствует Бабушка.

«Когда ты наконец присоединишься к нам?» — дивятся четверо наших Мужчин — Дед, и Отец, и двое Дядей, — висящие в коридоре, ждущие меня.

«Рафауль, обезьяна ты эдакая, бизабразина! — смеется сестра. — Почему ты от нас ушел? Так плохо тебе было с нами?» И слово «бизабразина» она произносит, как все женщины в нашей семье: «и» после «б» и «а» после «з». «Бизабразина».

А две мои Тети — Черная с Рыжей — только качают коротко стриженными головами, качают беззвучно. Кач-покач, молчи-не-плачь — качают, молчат, уличают. Одна поддакивает всерьез, другая подражает с улыбкой — вниз-и-вверх, вверх-и-вниз, в слитном ритме, дарованном им родством, и судьбой, и годами.

К этому уединенному водоему — ни разу не довелось мне приметить на его берегу чьи-нибудь чужие следы, притоптанную золу или остатки пищи — я ускользаю каждые несколько дней, едва лишь оказываюсь побли-

зости по работе. Как овальная, глубокая чаша, эта при-  
таившаяся в пустыне обитель водяных лилий вся зате-  
нена отвесными стенами скал и даже летом сохраняет  
большую часть своей воды.

Потаенное мое озерко. Даже Роне — моей бывшей  
жене, моей нынешней возлюбленной, моей будущей бе-  
де — я не открыл, где находится оно, но однажды взял  
ее туда.

— Закрой глаза, Рона, — сказал я ей. — Не хочу, что-  
бы ты видела, куда мы едем.

— Ты так уверен, что я не буду подглядывать? — Она  
посмотрела на меня сквозь трепетание сдвинутых поч-  
ти вплотную ресниц.

— А что, у меня есть другой выход?

— Есть. Ты можешь завязать мне глаза.

В нескольких километрах к западу от нашей новой  
скважины я останавливаю машину и озираюсь кругом.  
Никого. Короткий рывок, и пикап перепрыгивает через  
каменный порог перед устьем уходящей вбок расщели-  
ны. Пара царапин на железном брюхе, и вот я уже за  
выступом скалы. Кто бы ни проехал теперь по главной  
дороге, не увидит ни пикапа, ни ее, ни меня.

Вот он, изгиб пересохшего русла, вот она, белая наго-  
та утеса. Все мои старые приятели уже ждут меня не до-  
ждутся. Привет вам, две бесстыдно растрепанные ака-  
ции, и тебе привет, крохотная пичуга с черным хвостом,  
мечущаяся между ними словно в постоянном сомне-  
ние, — когда же ты наконец решишься, которую вы-  
брать? Я обрываю урчание мотора, заглушаю шелест  
«моторолы», и вокруг воцаряется великий покой.  
Глубокий и мягкий — как тот, в который погружается  
голова, когда покоится меж ее грудями.

Какое-то время я стою так, приучая тело и чувства.  
А затем, подобно первым звездам пустыни, что вспыхи-  
вают одна за другой с наступлением ночи, первые зву-  
ки раздвигают занавес тишины. Поначалу — крохот-  
ная пичуга с черным хвостом, зазывно попискивающая

в моих ушах. Потом — воздух, гудящий в моих легких. И следом — кровь, свирепеющая в моих сосудах.

Вот он, черный камень, а вот и огромный валун, который некогда приволокло в эти края древнее наводнение. Ниже, ниже скатывалась тогда вода, и пела, гудя, и перепыхивала, и взрезала, разливаясь, и бурлила, бес- сильно оскудевая в глубинах своих желаний. Когда-то, еще в школе, у нас был старенький учитель физики, которого так возбуждали чудеса притяжения, что он забывал о законах Ньютона и начинал рассказывать нам всякие небылицы. «В самой глубине земного шара сидит древний-древний старик и тянет, и тянет, и тянет», — сообщал он нам, и поскольку тоже был стар, то и сам начинал тянуть руками за воображаемые веревки, и на лице его проступало выражение крайнего усилия, благодаря которому я его и запомнил. Кто лучше тебя, сестричка, знает, что, как правило, я забывчив. Слова и факты протекают сквозь меня, словно медяки сквозь дырявый карман. Зачем помнить то, что можно придумать? Но запахи и картины, но вкусы и прикосновения — эти врезаны в меня, как надпись в надгробный камень.

В свои пятьдесят два года, старше всех мужчин, что жили и умерли в нашей семье, я тоже превратился в большого поклонника силы притяжения. Но я верю не в силу притягивающих тел, а в стремление тел притягиваемых: ниспадать, низвергаться, всё ниже, ниже, и скатываться, и собираться в том месте, ниже которого ничего уже нет. В том, где наконец обретают покой.

Только зов моей плоти — там, ниже, ниже, в моих пропастях. Только гладкие камни, поющие под ногами. И тоска, что сжимает сердце в своей горсти и направляет мои шаги. Вот он, каменный гриб, а вот там, внизу, — два могучих валуна, которым все-таки удалось сорваться с утеса и рухнуть на дно пересохшего русла. А вот и третий, что застрял на полпути, посредине склона, и с тех пор ждет там, гневный, молящий: ска-

ти меня вниз, Рафаэль, толкни меня, низвергни меня к моему спасению.

Сбиваясь на бег и сбиваясь с дыхания, я взбираюсь по скальным ступеням. Здесь я сказал ей: «Осторожней, Рона, тут большой камень». Здесь я взял ее за руку, а здесь возвестил: «Всё, мы на месте, можешь снять свою повязку».

Но Рона сказала, что ей приятней оставаться так, с повязкой, и с нее вполне достаточно окунуть руку в воду, чтобы убедиться, что я ее не обманул, что тут и в самом деле есть озерко, и ей хочется полежать на его берегу. Рядом со мной. Именно так, любимый мой, с завязанными глазами, чтобы запомнить, что я была здесь с тобой, доверчивая и слепая.

Еще несколько осторожных шагов, и я ложусь ничком над потаенностью каменного рта. Вот краешек водного среза, вот дрожащая рябь, а вот и я, глядящий из глубины. Ты ждал меня, Рафаэль? Ты соскучился? Комариные личинки испуганно разбегаются от тени моего тела, и высоко-высоко надо мной, в отверстии скальной трубы, — круглый глаз небосвода.

Глянь на меня, голубое небесное око, на родившегося и растущего тебе навстречу, глянь на меня, когда я всплываю к тебе из глубин. Скажи и ты: «Когда ты наконец повзрослеешь, Рафаэль? Когда ты наконец умрешь, Рафаэль? Когда наконец и ты присоединишься?»

## Я рос сиротой

Я рос сиротой, без отца, без дядей и деда, в доме, где жили пять женщин — моя Мать, моя Бабушка, две Тети и ты, моя маленькая сестричка-паршивка, — которые воспитывали меня, ласкали меня, кормили меня, рассказывали мне воспоминания и прислоняли к стене в коридоре.

Там, на известковой белизне, висят четыре большие фотографии четырех наших Мужчин. Вот они: «Наш

Рафаэль», наш Дедушка Рафаэль, который был Бабушкиным мужем. «Наш Давид», который был нашим с тобой Отцом и мужем нашей Матери. «Наш Эдуард», который был мужем Рыжей Тети и хозяином белой крысы, что вечно сидела у него на плече и даже тут, на фотографии, тоже там сидит. И «Наш Элизер», дядя Элизер, ветеринар, автодидакт<sup>1</sup>, который был мужем Черной Тети и братом Рыжей. Все четверо погибли рано, как и все прочие мужчины в нашем роду, от самых разных и самых странных несчастливых случайностей. И все четверо были повешены, один подле другого, на стене коридора и удостоились звания «Наш», которое наши женщины присвоили каждому из них после его смерти.

Дважды в неделю Бабушка готовила мне жидкость для чистки стекол — из уксуса, разведенного в воде. «За такую бутылку в кооперативе требуют уйму денег», — ворчала она. «Уймой денег» она называла любую цену, которая представлялась ей слишком высокой, что означало любую цену, которую у нее просили. Она учила меня окунать в раствор старую газету и до блеска чистить ею все четыре портрета. «Нечего зря тратить тряпку», — говорила она. У нее на веранде лежала куча тряпок, но все они сберегались на черный день («Ойфнит цу бедарфн, — объясняла она. — Дай Бог, чтобы не понадобилось»), а старыми газетами можно было чистить не только стекла на портретах Наших Мужчин, но и оконные стекла тоже, а еще ими можно утеплить ботинки, и сунуть их под подкладку пальто, если, не приведет Господь, придется опять бежать по снегу, потому что снег всегда идет как раз в тот самый день, когда приходят погромщики, и ты лучше не умничай мне тут, маленькая паршивка, какая разница, что здесь нет казаков и снега, зато здесь есть арабы и песок, а это в точности одно и то же.

Я с силой дул на портретные стекла, и сдувал с них пыль, и тер их уксусом и газетной бумагой, пока они не

становились такими прозрачными, что их вообще уже не было видно. Но я знал, что они все еще там, и подобно мне знали это те четверо, что за ними, смотревшие на меня оттуда, — вместе с белой крысой Нашего Эдуарда, — и ждавшие меня, каждый в квадрате своей рамки и каждый за скорбью своего стекла.

— Я кончил, — сообщал я Бабушке. — Можно я попищу еще что-нибудь?

— Нет, Рафинька, нехорошо, когда мальчик делает женскую работу.

— Я хочу пи-пи, — пробовал я зайти с другой стороны. — Можно я пойду в ваш туалет?

— Нет, Рафинька, нехорошо, когда мальчик делает пи-пи в женской уборной.

Как пять лепестков, пять этих женщин окружали мой стул, высились, как шахматные фигуры, вокруг моей колыбели, склонялись, как ивы, над тазом, где меня мыли.

— Может, ты знаешь, как мог бы мужчина расти еще лучше? — допытывались они у меня.

— Нет, — отвечал я заученно, послушно и с готовностью. — Нет, я не знаю.

Даже сейчас — а тебе уже пятьдесят два, твержу я себе снова и снова, и ты самый старший из всех мужчин, что жили и живут еще в твоём роду, — даже сейчас они время от времени навещают меня в доме моем, в пустыне. Они привозят мне свои разносолы, они проверяют, хорошо ли я выгляжу, в порядке ли мои десны и чисто ли в моих шкафах, они делают мне замечания и интересуются всеми моими делами. И мне не раз бывает нужна их хорошая память, особенно твоя память, сестричка, как и ты сама нужна мне — якорем и зеркалом, компасом и мишенью: чтобы выжить, чтобы отыскать пути, чтобы рассказать самому себе эту историю, которую пришло наконец рассказать, пока я не умер тоже.

«Почему ты от нас ушел, Рафаэль?»

«Когда ты вернешься?»